

Есть дом родимый, есть мой символ веры,
родным народом писанный закон.
Его кляли предатели, бандиты,
срамили воры в страхе и тоске.
Но я дышал той верой, даже битый,
живя средь них, как ерпик на песке.
Вот здесь пришлось мне
с юностью проститься...

Скажут — слишком длинна цитата; но это стихи того рода, когда лучший «разбор» и комментарий — они сами.

Чем больше вчитываясь в эту поэму, тем больше поражаешься вот чему: поэт очень мало размышляет о личной своей обиде. Ему как бы некогда об этом думать; он — на посту, он — в сражении; он, хозяин своей земли, отстаивает ее от врагов — даже причисленный к ним.

У Ручьева еще много сильных стихов. Хороша поэма «Любава», вся дышащая таежным соком и солнцем Сибири; интересны стихи, вошедшие в последние книги.

Но главные жизненные этапы — здесь.

Три эпохи жизни. Три испытания. И одно из трех — предельное для человеческих сил.

И везде человек остался самим собой.

Он говорит о себе удивительные вещи так, будто иначе и быть не может; ему и в голову не приходит хоть как-то оценивать себя — он просто рассказывает о своих чувствах.

Это — характер. Это — человек, прошедший испытание железом.

И это поэт поколения...

1961, 1976



Вологда ставит вопросы

Говорят о географических зонах русской литературы. «Черноземье», Сибирь, Вологда. Я не большой поклонник этого принципа. Но «вологодская школа» — есть; и во многом благодаря Белову.

Надо ли «портрет писателя», т. е. «дело об индивидуальности», начинать с общих слов?

Надо ли вновь входить в абстракции, «не всегда плодоносные»?

Какие бы они ни были. Белов давно уже — явление не частное и не сугубо индивидуальное. Портрет его, напи-

саний по правилам «родился, начал творческий путь, развился, находится в поре зрелости», уже не может быть написан. Белов держится в тени; и тем не менее все помнят «кто такое» Белов; и помнят именно как «явление», а не как «просто хорошего писателя».

Русская классика работала на материале, приблизительно умещавшемся в регион от Симбирска до Орла, от Москвы до Полтавы. Конечно, это не правило; кроме того, все писатели «живали» в Петербурге и пр. Но все-таки именно эти места нам дали материал для литературы, которой русские стали славны на весь мир, а не только «в своем кругу»; эти места не нуждаются в доказательствах и никогда не занимались доказательством самих себя. Но здесь складывалась великая традиция нашей литературы: ее гражданский, нравственный пафос, особое чувство братства людей, широта и полнота духовного поиска, извечная мысль о народе и личности, любовь к природе, величие форм, благородство стиля, разнообразие средств анализа и лиризма, умение интенсивно усвоить чужое, не поступившись своим, а лишь развив, закалив его. Эта литература, ныне называемая большой классикой, была чужда как провинциализма и узколобости, так и бездумной эклектики; это была литература народа на его подъеме.

В то же время литература шла в глубь и в ширь народной географии; «большая классика» в самом начале освоила Кавказ; литература «второго ряда», во главе с Короленко, пошла в Сибирь; Печерский, Мамин-Сибиряк, Скиталец и другие расширяли традиционный материал; в чем-то им помогали на старом материале Г. Успенский, а также Златовратский, Коровин, Засодимский и другие.

Что такое «вологодская школа»?

Я, повторяю, не сторонник географических терминов «в сфере духа»; но здесь география — это символ.

«Вологда» — это нетронутость, целина в тех местах, которые пространственно вроде и близки традиционным, но не являются ими; Вологда, с ее «тишиной» и гущей «органики», как бы нависла над югом — динамичным и патетическим со временем «Тихого Дона»; Вологда, «как ребенок», ставит вопросы.

Разумеется, я утрирую; но иначе не разобраться в Белове.

Белов дал много, но сердцевина — «Привычное дело»; не знаю, лучше ли оно, — потомки ответят; но — сердцевинное.

Я напомню известную мысль Толстого, что русская ли-

тература из своего духовного воспарения должна уйти под землю, насытиться ее соками; что и этот период — не вечен; что счастливы те, кто будет участвовать в выплывании.

Такие слова естественны, когда возникает «проблематичность» неких духовных «абстракций» и при этом есть потребность в абстракциях; но чтобы освоить их, нужно новое омовение истины живой водой.

«Привычное дело» Белова, на мой взгляд, было явлением одного из важнейших периодов нашей литературы, состоявших — как бы это сказать — в том, что она, литература, глубже всего ушла в землю — и одновременно уже смотрит ввысь: будто из рва. Вокруг — ѹ корни, и камень, и супесь под дерном, и влага, и жуки, и вся жизнь подземного царства; это реально и ощутимо; а над головой — синь и туман — таинственные, далекие.

Некоторые «деревенские» писатели, бывшие до Белова, лишь притворялись такими; задачи поверхностной, или даже и не поверхностной, публицистики для них заслоняли сам материал, он был только поводом — «материалом»; были и есть такие и после «Привычного дела»; оно же — само по себе. Белов, как никто, знает деревню изнутри; да к тому же деревня эта — северная — наиболее сохранившаяся как деревня. Даже классики — Тургенев и Лев Толстой — не могут в этом отношении тягаться с Беловым; они приступают к деревне «сверху», от духа и от культуры; Белов идет от нее самой. «Тихий Дон»? Там гуляют ветры истории, деревня пришла в движение; соответственно — сцены и персонажи, так сказать ПРИОТКРЫВАЮЩИЕ деревню, делающие ее, как говорят литературоведы, разомкнутым материалом; в «Привычном деле» деревня — вся из себя; отъезд Африканыча «в Мурманск» с тем луком апекдотичен и даже не описан как следует — дан через диалог, через байку; он на ходу становится грустно-юмористической легендой; Митька является со стороны, но сразу же втянут внутрь «системы», лишь как бы тонизируя ее особым посторонним ферментом; все же остальное, и прежде всего Катерина, Евстоля и сам Африканыч, — из самих «недр»; символично, что лес лечит Африканыча от величайшего горя.

В ситуации как ситуации есть своя сила и своя слабость; по спорам в нашей критике мы уже хорошо знаем, в чем то, в чем это. Сила, конечно, в самой органичности и исходности материала, в мощи первичных ценностей, в острой постановке вопроса, в чем же прочность, тра-

диции человека в нынешнем динамичном мире; слабость — в иллюзии герметизма деревни, в прекраснодушной мечте, что мир таков, может быть таким, каким мы представляем его, сунув голову в чистый, влажный зеленый куст какого-нибудь чернотала иль краснотала; но мир — вот он, вокруг, в просторе, и человек, даже дремля в зное, в общем-то все равно знает в душе, что впереди — дорога.

Но этот этап был необходим нашей прозе; и Белов его выразил.

Вот она — соответственная стилистика, беловский «язык»: «За печным кожухом потрескивала, высыхая, лулина, шуршали в стенах тараканы. Кряхтя от боли в спине, дед Никита опустился на колени, с виноватой отрадой, исподлобья взглянул на божницу... чуть покачивалось на цепочке оправленное в резную медь голубое фарфоровое яичко...»

Правда, это уж не «Привычное дело», а «Кануны» — произведение более позднее, более сознательное по своей манере и потому в чем-то более четкое — более простое для аналитика...

Белов густ, живописен; его описания просвещены тонкой и ясной, как говорят, «духовностью» — чувством высоты мира: «с виноватой отрадой»; но она, эта «высота», не поставлена во главу угла; Белов знает о ней, но не «исследует» ее — у него другие задачи; зайдясь он тут ею — все бы рассыпалось: тут просто иное целое; Белов объективен, эпичен, его основное средство — изобразительная деталь; эти детали в «Канунах» еще живописнее, еще гуще, чем в «Привычном деле»; достоинство ли это — не знаю; в искусстве все хитро, и густота густоте рознь; в приведенном описании живопись утиривается, в «Привычном деле» (мне кажется) — духовней, «просвещенней»; но об этих конкретностях можно спорить, а сам стилевой принцип — непреложен: изобразительная фактура довлеет.

Белов чужд той МУЗЫКАЛЬНОЙ стихии, которой поражают нас эмоциональные развороты раннего Гоголя, Достоевского; он чужд и того «напева», который есть в знаменитых прилагательных Бунинна — столь же частых, «пазойливых», как у Гоголя, Достоевского, но не эмоционально-психологических и «падрывных» (выражающих предел и стихию жизни), как у них, а изобразительных; он чужд и торжественных восхождений и писпаданий фразы Толстого.

Все это не его традиция.

Как сказать; в широком смысле оно, разумеется, и его

традиция, но конкретная традиция тут иная; она идет, пожалуй, именно от «второго» ряда нашей многообразной классики XIX века — от литературы «народнического» стиля и толка; но Белов — сразу же — отличен тем, что опять-таки более органичен и живописен: «Крепко было слово, сказанное Настей. Потап Максимыч не уснул от него после обеда. А этого с ним лет пять не случалось, с тех самых пор, как, прослышиав про сгоревшие на Волге, под Свияжском, барки, долго находился в неизвестности: не его ли горянщина погорела» (Мельников-Печерский). «У нее имелась под головой своя крыша, была своя печка, и даже своя живая душа животинка, как она называла курицу Рябутку. Эта Рябутка днем гуляла па полу, теперь же по слухаю ночной поры сидела за печкой, в закутке, на деревянном штырьке. И Таня поминутно вспоминала о ней» (Белов). Мельников пишет все же неуловимо «сверху»; он все-таки стилизует («крепко... слово», утрировка «горянщины», нарочитый «сказ» в тоне и пр.), Белов «нормален» в своем материале.

Он «спокоен», немного степенен; в нем не хватает духовно-мыслительной предельности нашей большой, громкой классики, да он и не стремился к этому; в основе он тематически ограничен, а за этим стоит и духовная некая «специализированность», сниженность диапазона — и, чувствуя это, в самое последнее время он пробует в рассказах иные темы и даже стили, чем в вологодских сценах; он ощущает потребность в новом — и остается собой в самом этом новом...

Что ж, в каждом писателе что-нибудь есть, чего-нибудь нет; мы благодарны Белову, что он нам, «в нашей суете», напомнил об Африканыче и о его лесе; правда, он нам напомнил и о стариках, за которыми стоит история десятилетий («Плотницкие рассказы»), и о самой истории («Кануны»), и о другом; перечислять ли?

Главные же темы Белова — это история в ее «глубине», в ее «подспудном» существовании. Есть «вологодская школа», но она не одна — со временем понимаешь, что нельзя требовать от нее всего; есть «вологодская школа» — и есть великая традиция великой литературы, которая, надо надеяться, ласт еще много «школ»; не время выяснять географические отношения; история продолжается.

1978